**АННА ДОМИНИ**

**1**

Москве жилось сытнее. Даже в февральские дни, когда столица еще не переехала обратно в Белокаменную. Василий Голицын вел переписку с университетскими друзьями, его звали жить и работать в новые, каждый день нарождавшиеся учреждения.

Родители с младшими братьями-сестрами уехали в Финляндию сразу после Октября. «Пока ходят поезда», – твердил отец, раскладывая по портфелям бумаги. Мать неумело увязывала вещи – прислуга уже покинула особняк, – торопила первенца:

– Базиль, крошка, помоги мне с этой застежкой.

Голицын бродил по разоренному дому, кидался помогать матери, потом нелепо замирал, таращил глаза в пустоту. Не выдержав понуканий отца, Голицын со слезами в голосе накричал на семью. Что именно он орал – люди в такие моменты не помнят, психика щадит их разум от разрушения. Но ответ отца он запомнил навечно:

– Что ж – оставайся. Уверен, одиночество твое продлится недолго.

Он быстро проел оставленные в квартире вещи – фамильные, золотые, не влезшие в родительские чемоданы. От бабушки оставалось столовое серебро, изготовленное в Италии бог знает в каком веке, и стекло тончайшей работы, дунешь – разлетится, а тронешь его – поет. Оно переходило из поколения в поколение, хранилось в длинных больших коробках, выложенных внутри бархатом. Бабушка занавешивала окна, чтобы снаружи ничего не было видно, и тогда только открывала эти коробки. Теперь они пусты.

Декабрь прошел в голоде, январь еле закончился, и Голицын, пожалуй, был единственным, кто радовался новому, введенному большевиками календарю. Он проснулся не первого, а сразу четырнадцатого февраля, и с робкой радостью подумал: «А ведь и этот месяц я переживу! Половина уже пролетела…».

За стеной шумело уплотненное жилище. Ему оставили одну комнату, но предупредили, что, возможно, и здесь скоро отгородят угол, развесят мокрых простыней, расставят кухонной утвари, разбросают по полу грязного тряпья, вытравят буржуазный аромат «Ралле и Ко» пролетарским чадом семижды семи примусов.

Голицын оглядел свой бледный кабинет, свет вместо штор крали стопки книг на подоконнике. Ему вспомнился старый генерал, бывавший иногда у них в гостях. Василий увидел себя со стороны: ему не больше семи, он играет на оттоманке со спичками, выкладывая из них геометрические фигуры. В комнату заходит генерал, спрашивает позволения присесть, начинает рассказывать, что это не простые спички, и даже пообещал показать мальчику фокус с ними, но появился адъютант и доложил генералу:

– Ваше высокопревосходительство, вы назначены командующим в Маньчжурию.

Генерал крякнул, поднялся, разбросанные по оттоманке спички подпрыгнули ему вслед. Когда ноябрьской ночью Голицын шел провожать семью на вокзал, на разводном мосту их остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Он попросил огонька, и отец поднес ему зажженную спичку. В ее свете Василий узнал постаревшего генерала. Голицын вспомнил те самые «волшебные» спички. Они давно затерялись или были истрачены кухаркой, провалились в тартарары, как провалилась армия, страна, прошлое. Василий попросил на вокзале отца отдать ему эту коробку спичек, он был уверен: растерявший все генерал снова вдохнул в них порцию «волшебства».

Голицын достал заветный коробок из ящика стола, сжал его в кулаке:

– Все провалится, а я нет.

Гнал его из родного дома бродивший по Петрограду анекдот: «В анкете появилась обязательная статья – подвергались ли вы аресту, и если нет, то почему?»

В тот же день он собрал в два узла книги, снес их в места, где они еще имели цену, и укатил в Москву за лучшей долей. Его встретили, устроили на должность в Наркомпросе.

В ту пору над городом пронесся слух о «небесном знамении». По дороге со службы Голицын видел сам, как в морозном воздухе от заходящего солнца поднялся вверх огненный столб, перерезанный поперек другим лучом. Багровый крест нависал с запада. В очередях и курилках толковали:

– Немцы идут, скоро вернут нам крест, в Гатчине драгунские разъезды видели, на Фонтанке с аэропланов бомбы сбрасывали.

Голицын отчаялся: «Сидел бы дома! Чего понесло в Москву?», потом перевернул на свой лад: «Кого слушаешь, обывательщину серую? Это тебе знак – верно сделал, что уехал».

Он стал тянуться за обществом, в которое попал, посещать театр свежей формации. Новаторство с умопомрачительных афиш: «“”Царские грешки” – фарс минувшаго в трех действиях с прологом. Главные роли исполняют: балерины Пшесинской – актриса Рахманова, принца Ники – актер Емельянов. Снимать верхнее платье не обязательно».

Появления другого театра ждать было бессмысленно. Теперь здесь выступали даже циркачи. Вышел факир с провалившимися глазами, показал чудеса: совал себе в тело железные спицы, без крови прокалывал голые ноги и руки. Из ложи неслись возгласы работников чрезвычайки:

– А если его стрельнуть – врет, потечет с него, как с кабана.

Классическая постановка сопровождалась тишиной. Проникнутые революцией зрители не скрывали презрения к романтическому сюжету, музыка не звучала как военный марш, не взбадривала, храп заглушал оркестровую яму. Лишь самоубийство главного героя нарушило идиллию. Выстрел бутафорского пистолета на сцене встретил на галерке отклик: четыре по-настоящему грозных залпа. Зал омертвел, ждали продолжения стрельбы или объяснений. По рядам прошла весть: это утомленных чекистов разбудила сцена, они не собирались причинять вред – просто рефлекс.

В общей ложе судьба столкнула Голицына с будущей женой. На этом направлении он оказался одиночкой. Приятели его наслаждались свободными отношениями. Помимо продажной любви, жизнь наполнилась новой этичной нормой: женщина не обязана себя хранить для аморфного будущего мужа, к плотской любви надо относиться проще, с ней как с жаждой. Не все барышни поддались веяниям моды, но и приверженок оказалось достаточно. После свадьбы Голицын осознал: его жена из их числа.

Он сразу остыл в браке, меньше читал газет, перестал мечтать об иной, не большевистской прессе. Жена его была с неоконченным реальным училищем, но ему было о чем с ней поговорить. Она ушла от матери к нему в комнатку – выделенное Наркомпросом казенное жилье, и соседи им попались из бывших служащих, тихие, не скандальные. Лишь иногда донимал соседский четырехлеток Ромка, сын провинциальной актрисы Овчинской, переехавшей в пятнадцатом из охваченного войной Вильно. С нею ругалась вся коммуналка из-за бытовых раздоров на общей кухне. На шалости своего отпрыска Мина Иоселевна лила мягкий польский акцент:

– Вы, дражайшая, еще услышите о моем Ромуальде! Он станет скрипачом или танцором не хуже Нижинского! Вспомните и простите себе свою глупость, с которой сегодня так тщательно требовали его наказать.

Фамилия у ребенка была не материна – Кацев, и супруга часто жаловалась Василию:

– Нагуляла и бесится теперь. Мечтает, что он ее вытащит из нищеты.

По нескольку раз в неделю навещала чету Голицыных мать супруги. У этой женщины был еще сын, и она им вечно хвалилась:

– В отряде реквизиторов служит. После четвертого класса реалки Колька мой сразу в контору вышел. Знайте, Васенька, вы попали в образованную семью. Мы с мужем швейную мастерскую держали, четыре работницы у нас было, пол-Москвы обшивали, все честь честью… Да вот муж подкузьмил – умер.

Голицын смотрел на тещу и понимал, почему ее дочь стремилась выскочить замуж и съехать от своей матери.

Первомай грянул над Москвой новым знамением. Одна толпа пришла к площади на митинг, вторая – поклониться чуду. За день до Первомая ниши с иконами на кремлевских башнях затянули праздничным кумачом, а ночью в одном месте красная тряпка истлела, и выглянул на свет Никола Угодник. Толпу разгоняли красноармейцы, стреляли поверх голов. В прессе дали вразумительное объяснение: «никакое не чудо, обыкновенным ветром сорвало красное полотно». Обыватель посмеивался:

– Разборчивый ветер, на одной башне только и ободрал.

В начале осени к Голицыну в Отдел изобразительных искусств, где он сидел на делопроизводительной должностенке, пришел товарищ:

– Вася, выручи – у тебя полномочия. Надо бы пропуск одной даме выписать.

Голицыну приходилось слышать, что «мешочная конституция» с каждым днем работает все хуже, мужиков, везущих из деревни в город сало, масло и хлеб, перехватывают в поездах красноармейские патрули, на вокзалах стоят заслоны. Мешочникам накинули удавку на горло, а заодно и голодающему городу. Но неделю назад вышло разрешение каждому «трудящемуся» свободно провозить полтора пуда продовольственных продуктов. Люди стали изыскивать способы покинуть Москву, Наркомпрос в этом деле преуспел: Голицын выписывал пропуски для этнографических исследований с пометкой «изучение кустарных вышивок». От него в этом многоуровневом процессе зависело немногое, и он честно признался:

– Такая справка – не моих рук дело. Мне приносят их, я выписываю, что требуется, и дальше она течет по кабинетам, обрастает печатями, подписями, визируется.

– Но ты же знаешь процесс. Посули гостинцев или чего-нибудь там.

– Ха, а чем я буду отдавать? – усмехнулся Голицын.

– Поехали с нами. Я так и сказал этой даме: справку сделаю, но тоже еду по вашей справке.

– Теперь ты предлагаешь нам троим ехать по одному документу.

– Где двое, там и трое. В патрулях солдатня необразованная, они в этой справке один черт не разберутся, – стоял на своем товарищ.

День беготни по кабинетам увенчался заветной справкой. Вечером Голицын сообщил жене, что отъедет на несколько суток, а уже очень скоро в их комнатке торчала теща:

– Справку надо выправить наново. Этой барыньке все одно куда ехать, вышивка, она везде одинаковая, а нам с тобой, Вася, надо в Тамбовскую губернию. У меня там на станции Колька в реквизиторах. Три раза ездила: уж почет-то мне там у него на пункте – ей-богу, что вдовствующей Императрице! Сахару-то! Яиц! В молоке только что не купаются! Четвертый раз поеду.

Голицын еще день обивал пороги. В конце новой справки стояла незначительная приписка: разрешается вольный провоз одиннадцати пудов пшена. Через день встретились на вокзале все четверо: Голицын с тещей, его товарищ и «барынька». На ней была простенькая шляпка, дорожное платье, и полные руки сумок – текстиль в обмен на продукты.

Вокзальная толкотня, скабрезности со всех сторон. Вульгарного вида дамочка просила закурить у матросика, тот бросал ей с ухмылкой:

– Есть у меня одна папиросина...

Дамочка возмущалась:

– Двадцать первая? Спасибо, курите сами.

Деревенский мужик, расторговавшийся или ограбленный на вокзале заградотрядом, обводил ошарашенно несметную толпу:

– Неужто все они поели?..

Он впервые видел такую пропасть народа, с младенчества знал цену каждому зернышку: чтоб одну семью прокормить, сколь работы нужно, сколь трудов. На его сорокалетнем веку голод приходил в деревню не раз, но все эти разы город не знал голода. Теперь они с городом поменялись.

На углу вокзального буфета безжалостно рвали гармошку:

Девочка лет пяти спрашивала у матери выхваченную в толпе фразу:

– Мам, а что такое «дойти до ручки»?

– Раньше были такие калачи, работные люди в обед брали калач немытой рукой, объедали его, а испачканную ручку от калача бросали бездомным собакам… или нищему.

– Хлеб выбрасывали? – не верил своим ушам ребенок.

Время шло медленно, словно у него недоставало одной ноги. Долгая проверка документов, толкотня и бабьи визги в переполненных вагонах. Вот-вот отправка, тревожное нетерпение… заветно лязгнули буфера и… поезд встал. Вагон – мертвый гроб. И через минуту крики, толкотня, угрозы:

– Освобождай, сказано! Вагон для Красной Армии! Фронты трещат, как худые штаны, с юга Краснов напирает.

Билеты, разрешения, справки, командировочные листы – все по боку. Перед самой отправкой товарищ Голицына бегал с документами от вокзального коменданта обратно к вагону, вытирал на ходу пот, покрывался багровыми пятнами и в последнюю секунду затолкал всю «делегацию» в вагон.

Красноармейцы в полной сбруе: манерки, котелки, вещмешки, оружие, брезентовые и кожаные ремни. На скамейках теснота. Махорочный дух, смрадный пот, сыромятное амбре от мокрых ботинок. Их четверке выделили уголок и два диванчика. Сели друг против друга, теща с «барынькой», Голицын с товарищем. Солдатский гомон через версту стал стихать. Часто бьющее сердце Голицына – замедлилось. Тихонько разговорились, верховодила теща:

– Уж три раза ездила – Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся – понятное дело... Кто же своему добру враг? Ведь грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так – человека по миру пускать?» Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо!

Глаза «барышни» округлялись, только теперь она стала уяснять, куда едет и в качестве кого. Она стянула шляпку, показались коротко стриженные волосы, по-новому открылись зеленые глаза. В них мелькнуло что-то знакомое Голицыну, будто видел он этот портрет раньше. Василий тихо спросил у товарища:

– Ты ее откуда знаешь?

– Дочь директора Музея изящных искусств, – так же тихо ответил тот.

Трещала теща:

– Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге». Пра-аво! Оно, барышня, понятно... Что это я все «барышня», – положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!..

Голицын скользил взглядом за окном, но то и дело возвращал его в вагон, к дивану напротив себя. Иногда он касался коленкой платья «барышни»: «Что бы было, будь она из Петербурга или я родись в Москве? Встретились бы, смогли дружить?» Память затуманивалась монотонным вращением колесных пар, хотела заровнять неловкие выпуклости, бугры врожденного уродства.

Поезд застопорил ход. Станция была некрупная, с миленьким вокзалом, почти не загаженным. Солнце сбросило мутную шелуху туч, сияло золоченой луковицей. Ходили за кипятком, больше достать было нечего, торговок повсюду разгоняли, обвинив в спекуляции – изымали товар. Государство объявило монополию на жизненно важные продукты. Только оно могло их перемещать, закупать, реквизировать и распределять.

Голицын раздобыл свежую «Правду»:

К расстрелам.

Вслед за столицами, гулким эхом лозунг дня о красном терроре раскатывается по городам и селениям Советской России. Из ряда местностей сообщают длинные списки своих знаменитостей. С ними сходит в могилу черное прошлое России. Освобождаясь от этих пленников, мы отдаем только некоторую дань человеческой справедливости.

Голицын нервно свернул газету. После жуткого наплыва стилистических ошибок в статьях накатывала тошнота. Он пристально поглядел на «барышню», набравшись смелости предложил:

– Не хотите выйти на перрон, прогуляться?

Она заметно растерялась, но было видно, охотно бы приняла предложение:

– А успеем влезть, когда поезд поедет?

Поначалу она боялась покидать перрон, потом – отходить далеко от поезда. Голицын убеждал, что опасности нет. Разговора не выходило. Василий хотел спросить ее о прошлой жизни, но понимал: воспоминания о благополучных временах вызовут только тоску у обоих. Со стороны налетали жалобы мешочников:

– Чего это я должен хлебец отдавать? Да пусть он хоть вымрет, город этот! Мне что с него проку? Ни карасину не шлет, ни мануфактуры.

– Нынче времена, что любая крыса кошку поборет. Кошка от голода полудохлая, а крыса с падали – нажиревшая. Кошка добрая тикать, а крыса лютая – пировать. Вся Россия с ног на голову стала.

Голицын переваривал известные истины: «Большинство отправились грабить, оружия стало вдосталь, а слабый духом и телом, вроде меня, остался дома. Он перестал сеять, не выкармливает скотины, потому как спрятать надежно продукты не может, а в одиночку съесть ему не дают, он просто не успевает, приходят отряды опричников».

Спутница его внезапно разговорилась:

– Я давно мечтала оказаться в глубинке, в этаких древних углах, где вам без тени лукавства покажут клок рыжей шерсти и станут утверждать, что она принадлежит домовому.

– О, про домового я слышал от кухарки, – подхватил Голицын. – Увидеть его можно в Великий четверг, понести ему творога. Так она и сделала. По ее словам, видеть его не видела, а только ощупала –
мягкий.

Спутница Голицына прыснула и тут же грустно вздохнула. Василий заметил, что смех ее вымученный. Изящно ставя ноги, она говорила:

– В пять лет я впервые испугалась по-настоящему, увидела непонятное… Он был голый, в серой коже, как дог, глаза бесцветные, безразличный и беспощадный. Я назвала его «Мышатый». Он стал приходить чаще, уже не пугал меня. Со временем я закрыла икону в своей комнате портретом Наполеона, у которого были такие же глаза, как у Мышатого. Отец увидел – возмутился, попросил вернуть икону. Не помня себя, я схватила тяжелый подсвечник и приготовилась защищать свои владения. Отец молча отступил… Бог был чужой, а Мышатый – родной.

Голицын хотел уточнить: как именно она его увидела, но сдержал себя, боясь спугнуть вопросом ее вдохновенную улыбку, ее милое лицо. Он живо и с легкостью представил свою спутницу в новых реалиях – выносящую помойные ведра, в старой робе, с раздувшимися от работы руками. Василий боялся взглянуть на нее, стал тяготиться присутствием этого безумно ранимого, ничем не защищенного существа.

Голицын перешел на другой говор, более сокровенный:

– А я помню, как впервые услышал купальские песни. Мы гостили в Тверской губернии, имение стояло на бугре, внизу текла речка. Была лунная холодная ночь, я проснулся и с ужасом прислушался к далекой ведовской песне. Женские охрипшие голоса врозь с мужскими. Голоса скакали, крутились, били, а я не мог пошевелиться, не мог натянуть подушку на голову, позвать на помощь или убежать к маме… Я только слушал.

Спутница, казалось, его не воспринимала, толковала о своем:

– Думала, настанут благоприятные к поездке времена… А они никогда не вернутся, как моя сломанная шарманка – никогда не будет петь. Знаете, я нашла ее в одном антикварном магазине, тут же купила, на-
деялась, что со временем починю… Даже не давала Але с ней играть…

У Голицына жалостью скомкалось сердце. Впервые за многие месяцы ему стал виден кто-то кроме него самого. Она отчего-то пустилась в веселое прошлое:

– Перед войной я попала в экспериментальный столыпинский поселок. В ночь под Ивана Купалу начальство подписало кучу бумажек, отпустило сажень дров на купальные огни, земство готовило праздник. Из окрестностей сошлись люди, по деревьям развесили фонарики, сколотили сцену, гирляндами из березовых веток убрали стены домов, пригласили оркестр. По берегу запылали костры, и девушки мчались, прыгали через них, но всем было ясно, что праздник испорчен всей этой казенщиной. Из темной реки выходил ряженый водяной, рыбаки щупали его и ухмылялись. Дети, наряженные чертенятами, летучие мыши… И старики, и молодежь видели, что все фальшиво, чиновничий бред вместо обряда. Бездушная штамповка заслонила народную толщу. Так что я завидую вам, вы слышали настоящие купальские песни…

Она нагнулась, подняла круглую стекляшку из выбитого пенсне:

– Смотрите, перегородка между чьим-то внутренним миром.

Голицын подумал: совершилась ли здесь над кем-то расправа, или пенсне обронил в дождь провинциальный землемер, шедший со службы к дому.

Перед ними стелилась голая степь, в нее уплывали рельсы, солнце садилось. Они далеко ушли от станции, понимали, что пора возвращаться, но не могли повернуть, ведь тогда снова открылся бы дикий эшелон. Она провела рукой по воздуху, словно нащупывала горизонт:

– Дорога вытянута гитарным грифом. Вместо семи струн тянутся четыре – близнецы-рельсы. Шпалы вместо ладов… Не верится, что на этом бесконечном «грифе» все те же консервативные семь нот. Знаете, мой знакомый любит музицировать у себя на даче. Его флейте однажды стал подпевать соловей… Он следовал вверх и вниз, вслед за инструментом, пытался подражать, держал тон. Я сама слышала… Мы не знаем себя, и больше того – не знаем природу.

К станции они возвращались в сумерках. Уже совсем бы стемнело, но луна перезрелой дыней выкатилась на горизонт. Высохшее дерево захватило ее в цепкие лапы, впиваясь когтями-ветками, но на самом деле – заботливо покачивало на ветру.

**2**

Ледяной ветер со взморья. Глыбы льда, навороченные гигантской силой. Заметенные по горло парадные. Не разобрать – где мостовая, где тротуар. Обезтрамваевшие улицы. Балконы, карнизы, статуи, лепнина и любые уступы на домах заросли снегом. Голые фасады с вывернутой из кирпича торговой вывеской и рекламой, ржавые крыши. Стеклянные витрины заколочены горбылем, кривыми щитами. В окнах не моргнет огонек, они затянуты одеялами.

Летела скрипучая метель. В хороводах ее пряталась худая старуха. То кривя уродливую личину, то злорадно хохоча, била оглоданной костью об подоконники, в заколоченные двери, безносую рожу плющила о мутные стекла, подолом рваного савана стегала по трепетавшим воззваниям. Они покорно шелестели, а старухе и дела нет, ее силами промерз и скрючился растерявший великолепие столичный град.

По вытоптанным в белых барханах тропам шатались люди-призраки, безмолвные и худые. Их музыка – хруст кофейных мельниц, моловших пайковый овес.

Василий Голицын не бывал здесь ровно год. В то время город выглядел скверно, сейчас вид его леденил кровь в жилах. Исчезли дворники, стоявшие раньше на мостовых через каждых две сажени, сгребавшие лопатами снег и топившие его в снегоплавильных печах над ливневыми решетками. Голицын думал: «Москва так же застыла в недоумении, в страхе за жизнь. Взять хотя бы декабрьский приказ – снять все вывески. Их там такая пропасть, и они такие громадные, а как крепко прибиты к стенам. С грохотом валились под ноги, на тротуары, может, и убило кого. Стены домов оголились, углы вывороченные, карнизы и окна разбиты. Вид – точно после пожара. И что этим достигли? Использовать железо в дело при варварском сдирании нельзя, оно исковеркано, никуда не годно. Только портят и само железо, и кирпич, и штукатурку, и окраску домов. Нет теперь пошлых названий: “Братья Васюки”, “Сукин и сын”, город одинаково гол, сер и нищ».

Парадная, как и ожидалось, была заколочена, наглухо заметена. На обледенелых ступенях черной лестницы можно было убиться. В пролетах выросли желто-грязные сталактиты – ватерклозеты давно не работали, у ослабевших людей не хватало сил выносить помойные ведра в ретирадники[[1]](#footnote-1).

Голицын взобрался на нужный этаж, долго стучал в дверь. Из квартирных глубин донеслось слабое шевеление, долго шарили по двери слабые руки, открылся васисдас[[2]](#footnote-2), за его стеклом вялый свет, в нем неизвестное лицо.

– Виноват, тут жили Дубинские… Дмитрий Павлович… Вы?

Дверь отворилась:

– Нет, Вася, это я. Папу схоронили осенью.

Голицын обнял хрупкое тело так и не узнанного приятеля:

– Это свет, наверное, так падает.

Дубинский отстранился, пряча виноватое лицо. Внутри квартиры стоял такой же зверский холод, что и на улице, Голицына обдало духом ледяной пещеры.

– Ты здесь живешь?

– Нет, не здесь. Пойдем, – поманил его Дубинский и зашаркал в глубину темной бездны.

Жуткий голубоватый свет в дрожавшей руке, рождаемый огарком, слепленным из лоскутьев, вервия и жировых отходов, выхватывал нагромождения массивной мебели, закоптелую посуду, покрытые наростами пыли волны гардин. Тускло блеснули зеленью глаза жестяной кошки, вмурованной в тело ослепшей лампы. Дубинский при ходьбе держался за полированные стенки комодов.

Они прошли в обширную залу, здесь когда-то пировала их компания, праздновала первую революционную Пасху. Голицын часто вспоминал тот вечер: Петр клялся, что уйдет добровольцем на фронт, Щерба ему вторил, а Виктория собиралась убежать из дома и записаться на курсы сестер милосердия. У всех сбылось, наверное.

Посреди залы из огромного ковра был скручен шалаш – дом внутри дома. Дубинский откинул ковровую полу:

– Ныряй скорее, не расходуй тепло.

Голицын проворно заскочил в низкое логово, у самого хозяина получилось не столь ловко. Внутри оказалась железная печурка, с выведенной в крышу палатки трубой, а там, в свою очередь, труба железным горлом тянулась к заваленному перинами окну. Печурка пережевывала осколки мебели, слабо потрескивая.

– Аркаша, тебе надо уезжать отсюда, – распаковывая сумку с сухарями, немедленно начал Голицын. – Ты либо устроишь пожар, либо угоришь в своем шалаше.

– Куда мне ехать? – возразил Дубинский слабой улыбкой фаталиста.

– Ко мне, в Москву. Ты знаешь, после годовщины Октября началась выдача всем, без различия категорий, праздничного подарка: полфунта подсолнечного масла, конфеты, по два фунта хлеба и рыбы. День и ночь у лавок нескончаемые хвосты стояли. Всем хватило.

– Без гроша и Москва – вша.

Голицын нашарил сухарь:

– Но там ведь жалование, там теперь столица, служба.

– Всего лишь временная вежливость, из которой торчит виселица.

– У тебя есть в чем согреть кипяток? Давай размочу сухарь.

Аркадий взял угощение, стал осторожно сосать потревоженным цингой ртом, шамкал и причмокивал:

– Подожгли Россию и наблюдают, сидя в башне из слоновой кости. Чувственно напевают «Крушение Трои». Мы вымерзаем квартирами, наши трупы несут не на кладбища, а в зоосад, на прокорм гиенам. Вместо опустевших скотобоен работают сырые подвалы, там теперь скрипят производственные лифты, вынимают кровавые туши на свет. Недавно расстреляли профессора Никольского. Имущество и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь восемнадцати лет и такого же возраста сын. Его потребовали во Всевобуч, там комиссар ему с хохотком объявил: «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили!» Еще не подохших жильцов Зоологического сада кормят свежими трупами, благо Петропавловская крепость близко. А у вас в Москве не так?

Голицын не отвечал, хрустел щепками, укладывал их на слабый огонь. Дубинский не умолкал:

– Слышали у вас в Москве про «китайское мясо»? Не все трупы из Чрезвычайки отдают в зоосад, какие помоложе – утаивают и продают под видом телятины. Скот на Руси перевелся, зато человеческого материала вдосталь. Говорят, на Сенном рынке поймали китайца, торговал мясом. Один доктор купил «с косточкой», узнал в ней человечью. Понес в ЧК, ему там очень внушительно посоветовали не протестовать, чтобы самому не попасть на Сенной.

Голицын отыскал в наваленном хламе небольшой чайник, бутылку с водой, колдовал в печной утробе, раздувал угли, почти не слушал приятельский бред:

– Тебе надо к доктору. У тебя ноги, десны… да и общая слабость организма.

– А зачем? – не выпуская сухаря изо рта, шамкал Дубинский. – Все равно городу быть пустым. Стояла на этом месте шведская Ландскорона, русские ее разрушили и возвели Невское устье. Шведы выстроили Ниеншанц, пришел Петр и снес его, поставил Шлотбург-Петрополь, свой выстраданный парадиз – русский парадоксальный рай. Нынешнему городу выпал долгий век – две сотни лет, и вновь здесь будет пустыня, только останется торчать из болот Александрийский столп.

Глаза Голицына слезились, когда он дул на угли, покашливая, разгонял в стороны наползавший из печного зева горький туман. Тоску и дурные мысли приятеля Голицын пытался отпугнуть своим оптимизмом:

– Большевики расстарались по осени ради праздника. Красную площадь, Воскресенскую и Театральную украсили громадными плакатами, лозунгами по шаблону. Были щиты, исполненные очень талантливо, но преобладали футуристы. Мазня не веселящая, а устрашающая. В сквере против Большого театра даже кусты, сбросившие листья, раскрасили ярко, разноцветно. Наскоро налепили памятников, бесчисленных шатров, трибун и киосков. Флаги, прочая мишура.

Баюкая Дубинского ласковым голосом, внутри себя Голицын думал: «До вокзала я его не дотащу, надо подправить на месте. Но чем лечить? В городе не осталось никого из всемогущего прошлого».

Аркадий дождался едва вскипевшую воду, опустил в кружку обсмоктанный сухарь. Хлебнув, немного окрепшим голосом заговорил:

– Живого человека я видел неделю назад. Он не узнал мою опухшую морду и сказал: «Эта зима самая лютая за всю историю метеонаблюдений». Я с ним заспорил: морозы не такие бывали, просто топить нечем. Вот у меня весь дом завален мебелью, но продавать дрова нельзя, они, как хлеб, – товар «нелегальный». Само собой, и покупать не разрешается, за это тоже: попадешься, не обрадуешься… На Пантелеймоновской собралась толпа возле дома, там арестовали человека, разделавшего свою жену на пропитание… Мы теперь как Израиль: вышли из Египта, а до Палестины дойдут лишь наши дети.

– Брось, не ворчи, – истратил доводы и терпение Голицын.

Дубинский отставил порожнюю кружку, медленно укладываясь на бок, скрипел:

– Я тебя утомил своим нытьем, Вася, понимаю. Если в сухарях есть жизнь и они вернут в мои кости хоть каплю силы, я выведу тебя в здешний свет. Питер умрет, когда здесь перестанут читать стихи. Можешь удивиться – их до сих пор читают. Собираются призраки,вроде меня. Женщинами не интересуемся, стали импотентами, а у них пропали месячные.

Скоро Аркадий уснул. Голицын провел в поезде беспокойные сутки, почти не смыкал глаз. Он долго гнездился в ворохе покрывал и по-
душек, ворочался, снова колдовал над затухающей печкой, колол ножом щипки, вылезал из палатки с зажженной лучиной, бродил по замороженному гроту, потерял счет времени, не мог понять – почему так долго не настает утро? Подойдя к задрапированному одеялом окну, оторвал плотно подогнанный край. В комнату упал бледный свет. Голицын испугался его, снова прикрыл окно, обратив просветлевшую и оттого страшную комнату обратно в пещеру, в первобытное логово. Тихо собравшись, он прокрался к двери, уходя, подложил обувную щетку, чтобы дверь не захлопнулась.

Редкие прохожие, человеческие тени. Красноармеец на углу спросил «доку́мент». Жалкое лошадиное копыто из сугроба, обрамленное заиндевелой шерстью, все, что ниже копыта, – оглоданная людьми и собаками кость. Хотя врут, что уже и собак в городе не осталось.

Около учреждения – мобилизованные из «бывших» людей: старик в измазанной шубе; женщина с серым лицом; из-под длинного края пальто стелется ряса священника – выеденный взгляд, проседь в бороде. Вяло долбают лед, таскают глыбы на носилках, чистят вход в подвал. Конвойные болтают:

– В Москве запретили им пользоваться лошадиными силами, так они тогда наняли себе верблюда из зоосада.

– Молодцы, ловко обошли декрет!

На углу торговка, выложила на застеленном холстиной ящике еловые ветки.

– С Рождества, что ли, здесь? – удивился Голицын.

– Что ты, милый, – растянула худую улыбку прибывшая из деревни баба, – это не для веселья. Отвар с елки для лекарства. От цинги, против куриной слепоты – первое средство.

Голицын поворошил лапник, будто что-то понимая в товаре, узнал цену, полез в карман за деньгами:

– Не гоняют тебя?

– Отцы-святители, хоть на это запрет еще не наложили, – порадовалась торговка и тут же шепотом:

– Хлебца хоть чуть нету? Я царскими заплачу.

– Откуда? – обиделся Голицын.

– Известно: у нас хлеб гребут, для вас, городских, пайками раздавать.

Голицын упрятал за пазуху еловый лапник, виновато нагнул голову, пряча от торговки свое сытое по питерским меркам лицо.

Через два дня Дубинский решился на выход из своей пещеры. Помогли сухари или горький отвар из елки – не имело значения. Он покорно дал Голицыну выскоблить от щетины свои щеки, не возражал против стрижки, мытья головы и шеи, согласился сжечь кишевшее насекомыми белье.

Под сводами бывшего дворца, на скорую руку перекроенного в новый университет, собралась публика. Много бывших, не уехавших за границу, не вымерших в ледяных квартирах, не растерявших жизненной жажды:

– Думаю: а вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности, и все мои вещи конфискуют? Попросила заявить, что сундук пролетарского происхождения, принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением – положила сверху портрет Ленина с надписью: «Душечке Феничке в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова».

Среди них – люди новой формации, нарождающаяся интеллигенция со своими пережитками:

– Генерал был так себе, невзрачненький, но голос командирский имел. Бывало, как чихнет, так у мамзели ихней аж собачка под себя мочилась, а один раз даже померла со страху, сердечко воробьиное лопнуло.

– Англичане высадили в Баку стада обезьян, обученных правилам военного строя. Их нельзя распропагандировать – у нас на обезьяньем пока не говорят. Вот с этими обезьянами в войсках может выйти заминка.

Кто-то озабоченно качал головой, другие прятали робкие усмешки и дивились святой наивности. В уголках потемнее – глухие разговоры:

– На днях схоронили Засулич.

– Враки. Что-то я не слышал о похоронах.

– Померла в нищете и забвении, оттого и не слышал никто.

– А я вчера встретил старого инвалида, шагает на костылях по Невскому, из узелка хвост ржавой селедки торчит, пригляделся – Кони. Ведь я его не раз на процессах видел, да и открытка у меня есть… Стал похож на убогого нищего.

– Старик читает лекции о праве новым юристам, трудится за паек.

– Говорят, дочь Пушкина скончалась в полном одиночестве, в маленькой комнатке Собачьего переулка.

– Чему удивляться – молодые-здоровые мрут, а тут старушка вековая.

– Уехала в Москву, спасалась от голода. Луначарский ходатайствовал и выбил ей денежный пансион, но власти так долго совещались, что первую пенсию принесли ей в день похорон.

Голицын видел хрупкую старушку на Тверском бульваре, на скамейке у памятника ее отцу. Говорили, она проводит здесь все дни до самых сумерек, всегда на одном и том же месте, и в дождь, и в снег, а приют ей дала сестра бывшей горничной.

Среди публики – сонмы неизвестных поэтов: вышедшие из прошлой сытой жизни, увлеченные декадансом и прочей мистикой, ненужные слушателю ни тогда, ни сейчас. Между ними роились новые – пролетарские, крестьянско-батрацкие. Они сменяли друг друга на сцене, взаимно пыжились перед собратьями по перу и аудиторией. Стулья в зале пустели, по рядам бродило:

– Не расходитесь, в конце обещают выступление звезды.

– Где же мэтр?

Очередной чтец, чье ухо резанула эта дерзость, оборвал недочитанный стих, ушел, гневно топая башмаками. Сцена долго оставалась
пустой, за кулисами слышался небольшой шум и настойчивые уговоры. Ведущий в буквальном смысле вытолкнул на сцену человека с худым породистым лицом и сведенными вверх, как у Пьеро, печальными бровями. Немногие узнали в нем мэтра. Залу покрыли ровные аплодисменты, похожие на шум ночного дождя.

Мэтр долго молчал, поглядывал вбок и, видно, рассуждал про себя: можно ли уйти, вовсе не начав? Дома его ждала жена, он думал о ней: «Бедняжка, старается прокормить меня, не пожалела пяти сундуков своего актерского гардероба, коллекции старинных платков и шалей, обожаемой нитки жемчуга…».

Из зрительских рядов повелительно закричали:

– «Двенадцать»! Даешь «Двенадцать»!

Мэтр перебирал на месте ногами, молчал, потом вздохнул, – в зале повисла тишина. Он грустно сказал:

– Стихи о России.

Опять долгое молчание. Публика потеряла терпение, начала возмущаться, даже оскорблять поэта. Тогда он вздернул голову, зала притихла.

Девушка пела в церковном хоре

О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,

О всех, забывших радость свою…

И голос был сладок, и луч был тонок,

И только высоко, у царских врат,

Причастный тайнам, – плакал ребенок

О том, что никто не придет назад.

Залу окутала могильная тишина. И те, кто что-то смыслил в поэзии, и те, кто никогда не думал об «этих глупостях», понимали – мы никогда не вернемся назад. В стихах не было никакой надежды, но все уверяли себя: это отчаяние и есть самая настоящая надежда.

За окном носилась метель. Оглоданной трубчатой костью погромыхивала безносая старуха. Ангел Питера взирал со столба на выжженные морозом и метелями улицы, на дикий танец безумной старухи. Смотрел, не меняя каменного лица. Над метелью, над голодом, войной и разрухой, с заплатанными полотняными крыльями и небритым лицом плыл скорбный Ангел. Ронял соленые льдинки на Россию. Ведь должен же быть Ангел и у нее. Иначе как она выстояла?

**3**

Забитые уличной грязью, не метенные два года торцы мостовых с кустистой травкой. Торчат из наслоений человеческой жизни обрывки ветхих, чудом не истлевших воззваний: «Вся власть Учредительному Собранию!». Вековая пыль на окнах, в уступах лепнины, богатого фасадного декора. Выплывшая из невских глубин Атлантида, затерянная античность, так и не отмытый музейный экспонат, для антуража покрытый запустением.

Аркадий Дубинский тащился домой с фронта под Ямбургом, где рыл окопы. Ничего не изменилось, город остался прежним. Серый от камня, глухой и пустынный. Бледное солнце светило вполсилы, смотрело на горожан меланхолично, как старушка через лорнет.

Зимой Аркадий был близок к смерти, но приехал друг из Москвы, поставил его на ноги, хотел увезти с собой или устроить на службу с хорошим пайком. Дубинский за все его благодарил, уверял, что сам устроится и теперь не пропадет. С весны он мытарил по работам.

Все население разделили на три категории: люди, занятые физическим трудом – советское дворянство; занятые интеллигентным трудом –
бессловесные трутни; и ничем не занятые – буржуи.

Пережившие страшную зиму жильцы собрались для выборов комбеда, товарищ Шкорбан предложил поднять руки всем принадлежащим к первой категории, а остальным – удалиться. Это и было «всеобщее, прямое, равное, тайное голосование», за него так отчаянно бились поколения Дубинских и прочих фамилий, ради этого вот «народоправства».

Война подползала к Ямбургу и Гдову. Появились радостные лица на улицах, по городу прокатилась эвакуация, сновали автомобили, гремели грузовики. На фронте не хватало военных и рабочих рук. Дубинскому выдали ношеную форму, зачислили в землекопную дружину. Он ехал в трамвае, в грязном, залитом подсолнечным маслом обмундировании, с интересом ловил на себе ненависть и презрение – защитник палачей, воров и убийц. Люди ничего не смели сказать, пикнуть не могли, а глаза их говорили. Совесть Дубинского спокойна, всего лишь землекоп, у него нет шпаги, и он не продал ее Бронштейну.

Аркадий попал в деревню Завалинку, отдыхал в ней до войны с родителями. Пошел побродить по знакомым местам. Покинутые, густо рассыпанные дачи, церковь в парке, кладбище, пруд, где купались в то лето. Грустно пошел назад, к теплушкам, по единственной улице.
У дома сидел крестьянин, пригляделся:

– Слушай-ка, барин, да ведь ты бывал здесь у нас… Ну, здравствуй!

Как кулаком ударило по душе «барином» – бросился бежать без оглядки, решил прогулочки свои прекратить.

Желудок Дубинского с утра оставался пустым, но не «наигрывал вальсов», не клянчил еды. Он покорно ждал, когда хозяин соизволит чего-нибудь закинуть внутрь себя, будто на дно тюремной ямы. Свыклись не с голодом – к чудовищу нельзя привыкнуть, свыклись жить впроголодь. В кооперативных лавках даром выдавали порции мокрого хлеба, нюхательного табака, каменного мыла, но попробуй потолкайся в километровой сутолоке за этим богатством – на голодный желудок не выстоишь.

Впереди него шла худая тростиночка, покачивалась от слабости. Развалившиеся боты, жалкое пальто, ужасная шляпа. Она приостановилась, сбросила на гранитный панцирь свою ношу в мешке. Дубинский приблизился, разглядел подробности лица: нос с горбинкой, стриженая челка, шея, созданная для гильотины, туманный северный взгляд. Даже в этих обносках ее невозможно с кем-то спутать – пылающую звезду северной Пальмиры, теперь не светившую ярко, едва тлевшую. Говорили, что она торгует пайковой селедкой и на вырученные деньги покупает своему новому мужу чай и курево – без них он не может существовать. Он у нее гениальный ученый с багажом в 52 языка, половина из которых древние – вымерших цивилизаций.

Дубинский видел на поэтических вечерах этот гордый взгляд: обладательница его будет гибнуть, но пощады не попросит. Она и сейчас его не утратила.

За углом стояла старушка, Дубинский быстро протянул ей свернутые в жгут купюры:

– Мамаша, такая беда у меня… отдай это вон той дамочке, что за углом стоит… От меня она брать не хочет… Возьми там себе из них, сколько нужно, за услугу…

Старушка оказалась сообразительной, быстро закивала, скрылась за углом:

– Возьми, Христа ради, не отказывай мне…

Дубинский ускорил шаг, не видел, как она поглядела вслед уходящей старушке, убрала ее подарок в карман и взвалила неполный мешок с картошкой себе на плечи. Ее шатнуло силой мешка, она туманно по-
думала: «Скоро стану на четвереньки и завою». В глазах ее качнулись фасады домов, золотая надпись на одном из них – Anno Domini.

Перехватив мешок надежнее, она сделала шаг. Вместе с ним попыталась отогнать дурные мысли, вспомнить иные миры и времена.

…Шумный вечер в «Собаке», приятель с милыми тонкими бровями каламбурит:

– Знаешь, почему мама назвала Антиноя именно так? В младенчестве он мало плакал.

Всего три года назад… Как там он нынче? Все больше болеет, все меньше появляется на людях. Из сожженного имения ему прислали крохотный конверт с черновиками его стихов, на них следы человеческих копыт – все что осталось от богатого наследия. По слухам его тоже уплотнили, подселили матроса. Как съязвила одна не совсем умная женщина: «Надо бы двенадцать». Ей хорошо любить родину издалека, она эмигрировала и теперь может шутить про наши порядки…

А тот подселенный матрос, естественно, шумит, поет и пьет, мешает матери хозяина квартиры. Он пытался утихомирить матроса, но мать не позволила: «Саша, разве ты не слышишь? В его пении такая нежная душа». Сам он раньше восхищался музыкой революции, а теперь жалуется, что она исчезла.

Последний раз слышала про него, будто ночью он нес за пазухой кирпич хлеба, получил поленом по голове на черной лестнице, не дойдя до дома ступеней десять-двенадцать. Хлеб из пазухи вытащили. Теперь его головные боли совсем не проходят, и музыка революции оттуда выветрилась. Верховные жрецы – Горький с Луначарским – пытаются его спасти и пристроить в Москву на лечение. Может, там чего-нибудь напишет.

Хотя лебединая песня спета, революция его оглушила…

Я тоже не напишу… После «Вечера литературы» в Доме искусств это невозможно. «Первая категория» уже вытесняет наши имена своими псевдонимами: Голодный, Бездомный, Бедный, Оболдуев. Один такой псевдоним увидел на вечере даму в платье с открытыми плечами, обмакнул палец в чернила и «скорописью» размашисто набросал ей на спине слово из трех букв.

Они взывают пролетарским кличем: «Пора отказаться от мертвой буржуазной писанины, от приемов и оборотов речи, от всей этой гимназической шелухи. Нам не нужен сыр бри, нам нужен ржаной крестьянский хлеб!» А у нас нет ни того ни другого. Нас высосали до дна, осталась только тошнота и дряблая кожа…

Мы научились попирать скудные законы бытия, «дух торжествует над плотью», но невозможно вечно не обращать внимания на голод.

Как там мой Гумильвенок? Нынче и деревня постится…

Бывший франт и щеголь, бывший муж, ходит теперь в рваных ботинках, в пиджаке с заплатами на спине – клошар, чучело. Мы все превратились в чучела из кунсткамеры, там тоже мумии со стеклянными глазами. Отголоском прошлого пиджак его укрывает шуба из убитого им в Абиссинии леопарда, всегда распахнутая на груди даже в лютый мороз. Однажды зашла к нему, навестить от скуки: квартира полна крысами. Пыталась ему объяснить, как от них избавиться, но он ответил, что крысы у него домашние, а с одной так и вообще за лапу здоровается. Сидел у едва тлеющего камина – экономия во всем, читал горничной стихи по-французски. Старая горничная, осталась и не покинула его то ли из жалости, то ли потому, что даже ей некуда идти, чистила ему картошку, и они оба мечтали, что наступят времена без большевиков, когда Коля разбогатеет, станет есть на ужин жареных уток и купит себе аэроплан.

Недавно услышала историю о нем и поняла, за что любила этого человека. На одном вечере он читал перед матросами – верной гвардией революции:

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,

По плечу меня с лаской ударя,

Я бельгийский ему подарил пистолет

И портрет моего государя.

В зале повисла полная тишина, он сложил руки на груди и ждал: вот на него кинется стая африканских львов, разорвет в клочья, как рвали год назад в подвале Ипатьевского дома его государя… Тишина сменилась громом аплодисментов… Помогла бы эта несгибаемость выжить нашему Гумильвенку…

Дубинский притормозил на углу, перевел дух. Из водосточной трубы ему под ноги тонкой струей бежала вода. Солнце устало глазело из-за облака, по трубе стекал скопленный за ночь конденсат.

Мимо шел странник, с трудом пытался вкатить тележку на горб Тучкова моста. На ней письменный стол, два кресла, скрученный в рулон ковер и этажерка. Вид, как и у многих в городе, – измученный: легкие изношено свистели, сам еще не старый, под нижней губой спрятана родинка. Одинокий Сизиф среди пустого города. Дубинский пошел к мосту, хотел подтолкнуть тележку сзади, но подъем закончился, путник легко пошел под уклон.

Тишину расколол цокот конских подков из-за канала. Подпиравшие балкон наяды с любопытством смотрели на долетевшие к берегам Невы степные волны, гуннское тысячелетнее наследие. Ехала по улицам защита и надежда революции – башкирская конница. Рыжий огонь лисьих хвостов на шапках, чапан, подбитый рысьим мехом, яркие пояса и национальная вышивка, кривые дедовские сабли, чеканная бронза скифских уздечек, золотоордынское тавро на лошади. Бесстрастные лица в каменном величии –застывшие боги. Двое выбились из строя, скакали особняком: иудей, с очками на вздернутом носу, выпуклый лоб философа, кучеряшки на лысеющей голове; и вологодский детина, с чубом из-под кожаного картуза, бант во всю грудь, васильки в
глазах:

– Ика, казак бердичевский, ты до этого хоть раз в седле сидел? Ты ж ей всю спину собьешь.

«Спиноза» не отвечал, близоруко щурился на солнце, морщил нос.

Дубинский остановился, пропуская войско. Куда теперь? В армию не возьмут, да и сам он не может выносить оружия. Перед отправкой под Ямбург – недолго сторожил кладбище. Ему выдали курковое ружье, охотничью хлопушку времен Ивана Тургенева. Предупредили: стрелять в воздух, в двух кварталах несет караульную службу конный патруль, они прибудут на помощь.

Аркадий слышал, что в городе не осталось нетронутого кладбища. Он не боялся встречи с расхитителями могил, наоборот, ему было любопытно испытать себя: хватит ли смелости нажать на спусковой механизм?

Первым же дежурством он делал обход по периметру, вдоль ограды, услышал в глубине кладбища цоканье металла о кирпич. Дубинский снял ружье с плеча, присел на корточки, будто в ночи и нагромождении могил его могли заметить. Он крался между склепов и крестов, представлял себя нанятым сторожем, которому барин выдал оружие и поручил охранять овечье стадо от волков. Из мрака выплывали готические надгробия, античные портики, на каменных плитах мелькали обрывки ушедших веков, скрытые тьмой фамилии. Цоканье и возня приближались, Дубинский прилег на могильный бугор, взвел курок, окончательно ощутил себя защитником древнего кургана, оберегом над ветхими костями предков.

Впереди шевелились тени, разбирали склеп над могилой, откалывали по кирпичику. Дубинский водил стволом, смутно различая в тенях человеческие фигуры: «От людей в них ничего не осталось!.. Всем тяжело и голодно, но идут на святотатство немногие…»

Он переводил ствол с одной тени на другую, потом задрал ствол. Небо над кладбищем вздрогнуло от слабого хлопка. На него двинулся топот, бежать самому было поздно, страх и слабость пригвоздили его к могильному холму, мелькнул молот, которым разбивали склеп. Голос опередил руку:

– Не бей пролетария!

Дубинский лежал со сдавленной глоткой, пощады просить не мог, едва продавил:

– Я не пролетарий…

– И то правда, пролетарии все в окопах, колыбель революции защищают.

Ему помогли встать на ноги:

– Безобразить не будете? Шуметь, звать на помощь?

Покашливая, Дубинский рассматривал фигуры напротив себя:

– Отдайте ружье, оно казенное, и я уйду.

Кажется, в стороже разглядели его сущность, с издевкой спросили:

– Слово дворянина?

Ночь и без того темная, стала еще темней. Кровь внезапно прилила Дубинскому в голову, три фигуры стали таять в налетевшем мраке, размытые кресты качнулись перед глазами, мелькнуло небо с едва проглянувшей звездой и плавными закраинами туч.

Аркадий очнулся от похлопывания по щекам. Листва на деревьях шелестела под легким дождем, по лицу стекали капли. Одна из фигур помогла Дубинскому подняться. У порога сторожки они остановились, провожатый задержался на миг:

– Вы, скорее всего, давно не ели.

Дубинский попытался ответить, из нутра его вырвался всхлип. Ему не было жаль себя, он просто понял, что перед ним такой же «бывший», как и сам Дубинский, человек – не способный заровнять об жестокость этого мира своей души.

Провожатый распорядился:

– Затопите печь, погода испортилась, ночных гостей сегодня уже не будет, патрулировать вам бессмысленно.

Дубинский сделал все, как ему велели. Дождь барабанил по жестяной крыше, в аккуратной печурке потрескивало. Аркадий смотрел на свои беспомощные руки, на бесполезное ружье в углу.

Внезапный спутник явился нескоро, стал хозяйничать в сторожке, греметь чайником, Дубинский не пытался его рассмотреть:

– Зачем вы пришли и делаете это?

– Вас может оскорбить людская жалость? – мягко спросил ночной гость.

Аркадий откусил предложенный хлеб и сделал маленький глоток. Дождь за окном стихал. Ночной гость заговорил теперь сам по себе:

– Где-то прочел: у каждого человека есть в судьбе другой человек, который будет для него роковым, если они внезапно встретятся. Мне таковой попадался и сохранил мою жизнь, а мог бы лишить. Теперь мне кажется, что вы тот человек, которому я должен продлить жизнь. Хотя бы однажды.

На стене прыгали язычки печных огоньков, пролезавших сквозь зазоры в чугунной дверке. Аркадий подкинул неструганных обрезков – отходы от сколоченных гробов:

– Почему не ушли по льду в Финляндию?

– В грабеже могил меньше греха, чем в бегстве с тонущего корабля. Вы ведь тоже остались смотреть, как рушится Вавилонская башня. Или вас все устраивает? Мне попадались субъекты – редкая фанатичность. Спрашиваю у него: «Неужели при царе хуже жилось, чем теперь?». Твердит свое: «Это временная трудность. После войны все наладится. Зато какие мы счастливые, что увидели этот великий перелом».

Аркадий скептически хмыкнул:

– На них все и держится, на преданных фанатиках.

– На чудовищной лжи, – тактично поправил гость. – Это главное их оружие. С помощью него они выстроили стены абсурда, вылепили этот трон и покрывают сверху сумасшедшим враньем. И все верят!

Тут голос собеседника впервые не выдержал, потерял бесстрастность, в нем слышалась тревога и дикое возмущение:

– Они два года твердят: террор, – но ведь революция! Поголовный принудительный набор в армию, – но ведь на советскую власть нападают, принуждают нас обороняться! Голод и разруха, – но ведь блокада! Ведь буржуазные правительства не признают социализма! Все нищие, –
но ведь равенство! А равенства тоже нет – в одном Питере столько нуворишей, поднявшихся на обдирании буржуев и прочих «бывших». Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с их представителями, – но ведь диктатура пролетариата! Все это – наука, искусство, техника – должно быть пролетарским, а интеллигенция – контрреволюционеры. Свободы слова нет – только правильные газеты, свободы передвижения нет – попробуйте уехать из города, я уже не говорю про заграницу. Все, вплоть до земли, взято «на учет», в собственность правительства, – но ведь это же «рабоче-крестьянское» правительство, поддержанное всем народом.

Ночной гость сел к печи, выставил вперед руки, они заметно дрожали. Он смог выровнять голос:

– Недавно я был на позициях… У них из башмаков торчат голые пальцы, а из них сочится кровь. Мне как политработнику нужно
поддержать полк петроградских рабочих. Величайшее смущение – что я им скажу?! Ничего нельзя обещать по их снабжению… Я не услышал ни одной жалобы. Просили только наладить регулярное снабжение газетами… А в это время из Гатчины перебегали крестьяне и наша разведка доносила, что туда одновременно с армией белых приехали на автомобилях благотворительные американцы, привезли с собою запасы печенья, сгущенного молока, риса, какао, шоколада, яиц, сахара и белого хлеба. Не торговать – подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей. Воспоминания о американцах для тамошних крестьян теперь священны.

– Неужели сгущенное молоко с печеньем не выдерживает борьбы с большевистскими газетами? – изумился Дубинский

Гость ничего не ответил, только неуверенно повел плечом, сам не способный объяснить этого жуткого парадокса.

Дубинский оперся спиной на кованную решетку сада, текла под ногами Нева стального цвета. Волна шлепала в гранитную щеку, не устала целовать свою тюремщицу, прощала ей все на свете долгих двести лет. Бледное солнце налилось перед уходом красками, финский ветер надул в него багрянца. С дворцовой крыши смотрели на закат каменные музы. В воздухе висел далекий медный призыв. Плыл над городом ангел с трубой, махал крыльями своим побратимам, опиравшимся на кресты.

1. *Ретирадник* – дворовый клозет для прислуги. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Васисдас* – проделанное в двери окошко. [↑](#footnote-ref-2)